

На Верхней Масловке

Автор:

Дина Рубина

На Верхней Масловке

Дина Ильинична Рубина

Художник – герой этой книги. Тревожный, мнительный, вздорный, трагичный – личность, как правило, необаятельная... и все же чертовски для людей привлекательная!

То, что у обывателя зовется «творчеством» и подразумевает богемную легкость жизни, безделье, пренебрежение приличиями, то для художника оборачивается тяжким ярмом таланта, вечным мятежом и той бесконечной битвой за Жизнь, которую он ведет со Смертью.

«И чем ярче человек, чем необычней, тем ближе он к плахе. Ибо на „странное“ всегда откликается „страшное“».

В. Набоков. «Искусство литературы и здравый смысл»

Дина Рубина

На Верхней Масловке

Его вельветовые брюки имели все еще очень приличный вид. За брюки он был спокоен. В присутственных местах можно непринужденно вытягивать ноги или класть одну на другую, слегка покачивая верхней. Впрочем, тогда видны

мокасины, а их биография насчитывает выслугу лет куда более почтенную.

В присутственных местах, пожалуй, разумнее всего убирать ноги под кресло, тогда колени, обтянутые приличными брюками, на виду, а мокасины не мозолят глаза секретаршам, от которых, увы, так часто зависит многое.

Вот она, голубушка, вышла из кабинета. Пригласит к шефу? Или?..

Он приподнялся в кресле, стараясь, чтобы выражение лица не казалось напряженным и ожидающим. Нет-нет, все легко и непринужденно. Ничего особенного не происходит. Просто человек с высшим образованием, с красным (на всякий случай) дипломом всего только полжизни не может устроиться на работу. И так – что же на этот раз?

Секретарша очень славная, надо отметить. Милое, чуть огорченное лицо. Ну-ну, девочка, не стоит из-за меня огорчаться, дело житейское. И так?!

– Петр Авдеевич, к сожалению, у нас все еще неясность в этом вопросе. Елена Ивановна ушла в декрет, но, как выяснилось, Инга Семеновна на будущей неделе как раз из декрета выходит... Ну и... вы понимаете...

– Понимаю, – подхватил он с улыбкой, с мерзейшей легкой улыбкой, выработанной его лицевыми мышцами в течение этих месяцев. – У вас налажено собственное производство новорожденных завлитов.

Она расхохоталась. Нет, она милая, ей-богу. Были бы деньги, пригласил бы ее... ну хоть в театральный буфет.

...Неужели все-таки придется вступить в эту унижительную, смехотворно мелкую игру: красиво сунуть секретарше коробку конфет, «уютно посидеть» с тем и этим инструктором министерства, появляться, крутиться, мелькать, внедряться «в круги», держа при этом в голове, кто в какую группировку входит, чтобы не ляпнуть, не дай бог, чего-нибудь или не столкнуться двух борзых из разных свор... Титаническая работа мозга и нервов, по плечу разве что разведчику из телевизионного шедевра.

Он приложился к мягкой выхоленной ручке, молча поклонился. И все это – чтобы ступить, наконец, на нижнюю ступень эскалатора, медленно ползущего вверх, на самую нижнюю, затоптанную, с ошметками сохлой грязи, ступеньку, – ах, потеснитесь же, дайте хоть левой ногою нащупать твердь, я повишу, я без претензий...

Врешь, братец, ты с ба-а-льшими претензиями... Прочь!

– Вы все-таки позванивайте, Петя, – секретарша понизила голос и многозначительно метнула глазками в сторону кабинета. – Вдруг что-нибудь да изменится... Вообще-то мы в вас заинтересованы.

Присвистывая и кивая знакомым физиономиям, он спустился по угнетающе величественной лестнице в служебный гардероб...

Много народу. Народу, говорю, слишком много в этом городе, в этой области искусства, какую вы, драгоценный Петр Авдеич, выбрали для приложения своего таланта, в существовании которого, кстати, так странно, так неизбежно уверены... Ну, довольно шута перед собою ломать. И что за милая привычка тихого сумасшедшего появилась у тебя в последнее время – беседовать с самим собою? Иди, дурак, и делай что должно, а то на пенсию тебя проводит незабвенная швейная фабрика и драмкружок, которым без малого три столетия ты руководишь...

Хорошо, что швейцар здесь не имеет привычки услужливо разворачивать перед тобой твой же старый плащ штопаной подкладкой наружу... Елена Ивановна в декрет, Инга Семеновна из декрета... Развели бабья кругом, бабье заправляет в искусстве...

...Он навалился грудью на тяжкую, как чугунная плита, дверь служебного подъезда, с вертикально привинченной табличкой «От себя», вышел на улицу и достал из кармана плаща мятую кепочку – ветер трепал над головой мелкий дождик.

Старуха, конечно, ничего толком не поймет, но не откажет себе в удовольствии покуражиться, особенно если вечером в мастерскую кого-нибудь черт принесет. В ее девяностопятилетней памяти перетасованы времена и нравы, ей кажется, что она по-прежнему профессор ВХУТЕМАСа и стоит только позвонить

Фаворскому или Левушке Бруни, как с Петей все моментально устроится. Маразма у старухи нет, этого и злейший враг не посмеет сказать, но бестолковость – сверхъестественная...

По поводу врагов: все они благополучно померли в прошлых веках, старуха победоносно их пережила и похерила, ныне ее окружают сплошь любимые друзья. Враг, притом злейший, остался только один: Петя...

Из-за фонаря выскочил бездомный сирота Шарик, которого здесь изредка и скудно подкармливали, пристроился сзади на почтительный шаг и потрусил с Петей через дорогу к остановке. Перед прохожими прикидывался, да и перед собою тоже: вот, мол, и у меня хозяин есть.

Они перешли дорогу. Под навесом остановки Шарик топтался рядом, крутил хвостом и скромно поглядывал вверх. Не навязывался, нет. Петя наклонился и почесал его мокрую спину. Шарик заныл от счастья.

– Ты чего такой худой? – спросил его Петя строго.

Шарик заплакал. И видно, что не из расчета, а так, растрогался.

– Дружище, взял бы, ей-богу, взял, я в тебе заинтересован, – сказал Петя громко, возложив по-оперному руки на грудь. – Но сам понимаешь: Елена Ивановна – в декрет, Инга Семеновна – из декрета...

Девушка в долгополом, очень модном пальто, сидевшем на ней как тулуп на ямщике, бочком отошла подальше. Это рассмешило.

– Взял бы, – продолжал Петя громко и душевно, – да старуха выгонит обоих... Два приبلудных пса – даже для нее многовато... А ты приходи в драмкружок швейной фабрики, я дам тебе роль волкодава...

Оттого что с ним говорили так громко и ласково, сирота Шарик совсем размяк, он расстился у Петиных ног, молотил хвостом по асфальту и закатывал глаза – то есть, по всему, находился на вершине блаженства.

– А что, швейная фабрика – это идея, – пробормотал Петя, опускаясь на корточки и бесцеремонно трепля разомлевшего пса. – А? Давай, друг, я уведу тебя из злочных мест в места трудовой славы, например к вахтеру Симкину... Довольно быть прихлебателем у искусства, пора начать здоровую трудовую жизнь... Ну пойдём, здесь не очень далеко. Давай, восстань из праха... Прекрати, говорю, валяться, как слабоумный. Пойдём!

И они пошли в сторону переулка, дружески беседуя. Последнее, что расслышала девушка в ямщицком тулупе, было:

– ...И перед смертью утешусь мыслью, что устроил судьбу одной хорошей собаки.

* * *

Не заглядывая к старухе, он поднялся в свою каморку, снял, бросил на кресло плащ, что случилось с ним очень редко даже в последние проклятые месяцы, и повалился на топчан.

Снизу, из мастерской, доносились голоса. Старуха бубнила басом – что-то рассказывала, она любит поговорить на тему «В мое время», хотя все времена считает своими. Несколько раз взрывался молодой и сильный смех женщины. Красивый, низкий и свободный смех. Кокетки и глупенькие так не смеются. Нужно быть достаточно привлекательной, чтобы позволить себе подобную роскошь.

Ах да, утром старуха раз двадцать говорила, что Матвей начинает, наконец, писать ее портрет. Она помешалась на этом будущем портрете, как помешалась и на Матвее. Не будем мелочны – старуха вообще помешана. По этому поводу нельзя даже сказать, что она сошла с ума, потому что такой она и родилась на свет. И дело тут не в легендарных девяноста пяти годах. Пятнадцать лет назад, когда робким провинциальным мальчиком он был приведен кем-то из друзей в мастерскую на Верхней Масловке, с привычками и характером у могучей старухи дело обстояло примерно так же. С характером особенно. Впрочем, тогда его здесь все восхищало: эти неженские, мощные, в глине лапы с закатанными по локоть рукавами, эта агрессивная независимость и мгновенная реакция в любом разговоре с любым собеседником. Нужно было пятнадцать лет потереться об этот характер, чтобы, став неврастеником, понять наконец, откуда что взялось...

Так, значит, Матвей начал портрет. Вероятно, пришел он не один, а с новой женою. Первая не выдержала вдохновенного сожительства с гением и улизнула к нормальному человеку, не то шоферу, не то слесарю. Правда, черты ее не будут увековечены в «портретах жены художника», но зато в доме у нее теперь, надо полагать, чисто, покойно и не воняет скипидаром... Вторая, если она не дура, поступит так же.

Сойти, что ли, вниз, посмотреть на новую жену Матвея? Судя по смеху, это должна быть штучка.

Он поднялся, натянул старый домашний джемпер и, чувствуя зябкую сырость, пощупал батарею парового отопления.

Сволочь Костя! Только позавчера содрал с них едва ли не последнюю трешку, и пожалуйста – сегодня батареи опять едва теплятся. Он решил наорать наконец на подонка Костю, личного, как говорила старуха, слесаря. Хронический бездельник Костя приходился мужем Розе, которая иногда стряпала им, надо отдать ей должное, довольно вкусно, но слишком дорого. Роза безусловно их обкрадывала, и, черт возьми, правильно делала. Надо быть святой или безмозглой идиоткой, чтобы не почувать, как легко старуху обворовать, и не воспользоваться этим. И к чему, к чему в их жизни, ко всем остальным сложностям, нужна бесстыжая Роза?! Это все то же полное нежелание старухи осмыслить действительность и хоть как-то приспособиться к ней. Ну как же – она никогда и ни к чему не приспособивалась! Как же, как же – домработницу иметь необходимо, чтобы целиком отдавать себя творчеству.

Она получает большую пенсию. Скажем так, самую большую, какую можно у нас получать. Но проследить, куда и когда испаряются эти деньги, совершенно невозможно – большая часть уходит на подачки даровитым алкоголикам из соседних мастерских, на праведное дело опохмела. Бывает, и крупные суммы приваливают, когда музей покупает какую-нибудь старую работу, но и это все течет сквозь пальцы, выбрасывается на ветер, раздается; наконец, просто исчезает. Буквально: лежала в конфетнице пятерка, заглянула Роза на минутку – и остался в конфетнице пшик с карамелькой... Нынче уж совсем туго. Размах у старухи прежний, а денег нет. Вот уже два месяца нет Петинной скромной зарплаты, а на нее, бывало, кормились, когда старухина пенсия исчезала вдруг за два дня.

Он спустился по деревянной лестнице в холодную, с цементным полом прихожую, мельком оглядел брикеты скульптурного пластилина на стеллажах, мешки с глиной и гипсом по углам, – слава Богу, Роза хоть на это не зарится.

За обшарпанной дверью мастерской басила старуха:

– ...И вот что, Матвей, милый, расстелите-ка под этюдником газету и использованные тряпки бросайте на нее. А то сейчас явится сумасшедший Петька, и нам с вами влетит.

Ну да, сумасшедший Петька, пугало Петька, ничтожество Петька. Добавьте еще – нахлебник Петька, бессовестный тунеядец, сидящий на шее у старухи!

Он не стал заходить в мастерскую, прошел по коридору в уборную, где батареи совсем не топились. Конкретная ненависть к негодяю Косте затмевала сейчас даже постоянное глухое раздражение.

Заходить в мастерскую не хотелось потому еще, что он вспомнил: сегодня старуха собиралась занять у Матвея денег. Он ухмыльнулся мысленно: интересно, как великий Матвей чувствует себя при солидном бумажнике. Бессребреник Матвей, нищий Матвей... Да, старухе никогда прежде не пришло бы в голову одалживаться у него, все знали, что художник живет на копейки. Кажется, он вел где-то студию за какие-то восемьдесят рублей. А что такое восемьдесят рэ при нынешних ценах на холст, краски, кисти? Учитывая, что Матвей работал как вол, можно представить – что из этих восьмидесяти оставалось ему на жизнь. До недавнего времени старуха сама невзначай подкармливала его, подкармливала буквально – бутербродами, кашей какой-нибудь, потому что денег Матвей не брал никогда.

Ну а теперь времена переменялись. Матвей женился. Говорят, супруга – переводчица то ли с испанского, то ли с португальского и гребет приличные гонорары. Во всяком случае, в последний раз Матвей явился в дубленке, в которой, похоже, не очень свободно себя чувствовал. Хм... интересно, как в таких семьях распределяются отношения?

Перед дверью мастерской в сумраке прихожей изогнулась, заломив руки в неге утреннего пробуждения, обнаженная гипсовая Нора. Когда к старухе являлось много народу, на Нору вешали шарфы и шляпы. Тогда она переставала быть

пышущей здоровьем колхозницей и становилась похожей на девку из непристойного варьете. Увы, сама Нора – безотказная натурщица всех скульпторов с Верхней Масловки – умерла лет десять назад. Впрочем, это отдельная, щемяще-грустная история...

Он поймал себя на том, что снова стоит перед дверью мастерской, прислушиваясь к голосам – ворчливому басу старухи и резковатому, притягательно молодому голосу женщины:

– Отчего вам и в самом деле не писать воспоминаний?

– Оттого, что я ненавижу этот жанр, эти сплетни о великих, обязательно с подробностями, вроде с кем он в то время жил и чем болел, словно все это имеет к искусству какое-то отношение... Когда они попросили меня написать воспоминания о Модильяни, я послала их к черту. Что я могла написать: что в начале войны мы жили в одном дворе на Монпарнасе и иногда ходили вместе обедать в соседний ресторанчик? Что он был молчалив и кололся кокаином? Что однажды он сказал мне: «У вас независимая походка» – на что я ответила: «С чего бы ей быть зависимой, если каждый месяц мне присылают двести франков?..»

Женщина расхохоталась, звонко, весело. Он толкнул дверь и вошел.

– Полундра, – сказала старуха, – Петька явился. Сейчас браниться начнет.

Она сидела в кресле, напряженно стараясь не двигаться – позировала. Напротив и чуть сбоку сидел за этюдником Матвей, хмурый, как всегда, когда работал. Он поднял голову, кивнул и снова уткнулся в палитру, переводя жесткий взгляд с холста на модель.

На Матвея всегда хотелось долго смотреть – он завораживал своей отрешенностью. Не было в нем взбаламученности, суетливости этой, когда каждым словом что-то кому-то доказывают. Похоже, он истово верил в свое предназначение и нес в себе талант с осторожным достоинством, оберегая его от разрушений, которые часто наносит жизнь. Просто жизнь как она есть...

По мастерской разгуливала молодая женщина.

Ай-яй-яй, вот вам и супруга – не знает, что Матвей терпеть не может, когда во время работы кто-то слоняется за спиной. Вот вам и распределение отношений внутри семьи.

На обшарпанном, без скатерти круглом столе лежали в плетенке дорогие конфеты и печенье, стояли масленка, тарелка с нарезанным хлебом. Неужели старуха успела занять денег? Когда? И кто успел сбегать в магазин? Не Матвей же – его нельзя обременять мирскими заботами.

– Петя, глянь, какую модель отхватил себе Матвей, – сказала старуха. – Простите, милая, опять забыла ваше имя...

– Нина, – невозмутимо ответила женщина. – А впрочем, зовите как вам удобно.

Отлично. Вполне в духе могучей старухи – двадцать раз переспрашивать имя. Такое может вынести не каждый человек.

– Я слышал, не только модель, – он любезно скривил губы, – но и жену.

– Ну, это – так, заодно, – быстро ответила она, не глядя на Петю. – Между прочим...

У нее хорошая реакция, и, кажется, она не глупа, если не надулась на старуху за бестактность... Можно ли назвать ее красивой? Пожалуй, да, хотя ему нравятся женщины другого типа. У этой слишком подвижное лицо, слишком энергичная мимика. И глаза очень живые и очень трезвые. Для женщины – слишком трезвые. Неги – вот чего ей недостает...

– Нина очень черная, ты не находишь, Петя?

«Старая дура, вот ты кто».

– Это называется – брюнетка, Анна Борисовна, – сухо ответил он.

– Да, слишком черная. Но для живописи это хорошо, – добавила старуха.

Матвей поднял голову и улыбнулся жене.

– У меня цыгане в роду, – спокойно пояснила Нина.

– А, понятно, почему вы так красиво, так самозабвенно курите... Но цыганки прежде курили трубку. Вы попробуйте, получится оригинально... А я никогда не была ханжой. Я и пила бы, и курила, но у меня всю жизнь было слабое сердце.

– Со слабым сердцем до вашего возраста не доживают, – заметил Петя едко.

Нина ходила вдоль стеллажей, уставленных скульптурами.

– Это Паустовский? – спрашивала она. – Верно? – И удовлетворенно кивала. – А это Брюсов. Да? Он позировал вам? В каком году?

– А черт его знает, не помню, – отвечала старуха, не поворачивая головы.

– Паустовский – в пятьдесят девятом, Брюсов – в двадцать первом, – сказал Петя.

Он ненавидел, когда старуха прикидывалась, будто ей все равно, что думают о ее работах. Впрочем, он несправедлив: старуха никогда не прикидывается ни перед кем. Она естественна в любых обстоятельствах. Просто сейчас она поглощена таинством сотворения портрета. Она позирует великому Матвею.

– Черт! – пробормотал Матвей, хмурясь. – Темно... На сегодня – все, Анна Борисовна. – Он помедлил, положил на холст еще два мазка и, яростно оторвав кусок газеты, принялся скрести мастихином палитру.

Нина остановилась за его спиной и долго глядела в холст.

– Плохо, плохо... И эта кофта ядовито-зеленая! – добавил Матвей. – Анна Борисовна, неужели другой нет?

– Нет, милый. Вы же знаете, я – женщина-урод, никогда не интересовалась тряпками. Это, разумеется, патология. Нина, вы интересуетесь тряпками?

– Конечно!

– Ну а я всю жизнь была уродом. В Париж приехала в старой юбке, вывезенной из Ростова.

Вообще одета была, по всей видимости, ужасно. Носила я тогда две косы, а со лба свисала длинная прядь. Когда по утрам шла в студию – лепить, то рабочие на Монпарнасе часто хватали меня за эту прядь и весело предлагали: идем со мной спать. Представляете, на кого я была похожа!..

– В каком году это было? – живо спросила Нина.

– Это было... Вы будете смеяться – это было в четырнадцатом году... Матвей, ну покажите же портрет!

– Да там еще смотреть не на что, Анна Борисовна! – Он действительно был недоволен портретом. Матвей, как и старуха, никогда не прикидывался. Он неохотно снял портрет с этюдника и поставил на пол, к столу, против окна. И отошел опять – чистить палитру. Старуха нащупала палку, тяжело поднялась с кресла и, доковыляв до раскладушки, опустилась на нее, шумно дыша. Минут пять она молча разглядывала подмалевок.

– Смотрите-ка, это рыло еще что-то о себе воображает, – бормотала она, всматриваясь в свое лицо на портрете. – Да... рука Матвея уже видна... Нина, вы знаете, что Матвей – гений?

– Других не держим, – ответила та невозмутимо.

– Анна Борисовна, я же просил! – поморщился Матвей.

Он не кокетничал. Кажется, этими вечными провозглашениями Матвеевой гениальности старуха осточертела ему.

– Да, гений, – твердо продолжала старуха, не обращая внимания на его гримасу. – Художник масштаба эпохи Возрождения.

Матвей вдруг засмеялся невесело и выбил короткую чечетку на гулком цементном полу мастерской.

– Ладно, – сказал он, – не выпить ли чаю по этому поводу?

– Петька, поставь чайник! – велела старуха. Ну конечно: Петька чайник поставь, Петька сбегай в магазин, Петька прислужи высоким гостям – гению с супругой.

– Давайте я похозяйничаю, – просто сказала Нина. Быстро набрала в огромный, тускло-жестяной чайник воды, поставила на плитку.

– Матвей, что вы думаете о живописи Руо? – Анна Борисовна взяла со стула, заваленного альбомами, папками, книгами, толстый альбом «Руо». – Идите сядьте рядом. Прежде чем мы встретимся с вами в иных мирах, мне бы еще хотелось понять что-то в живописи.

Матвей присел к ней на раскладушку, и они уткнулись в репродукции.

Нет, полюбуйтесь – ей важно услышать мнение Матвея о живописи Руо. Вот уже полчаса, как Петя вернулся, а она даже не поинтересовалась, чем решился вопрос. Он два месяца ищет работу, он совершенно отчаялся, а ее – нет, ей-богу! – интересуется живопись Руо. И этот гений хренов тоже: чихать ему на жену; она, бедняга, томится и наверняка не чаёт уже сбежать отсюда, – влез по уши в свои заумные рассуждения и никого не видит, не слышит. Да, этим двоим никто не нужен, никто.

– ...Я думаю, на Руо оказали влияние и витражи Шартра, и романские примитивы. И в этом смысле его интересно сопоставить...

– Чайник вскипел! – громко объявила Нина.

...За чаем старуха опять рассказывала о Париже. Признаться, он любил, когда у старухи развязывался язык. Конечно, он в сотый раз слушал все это, но надо отдать ей должное – рассказывала старуха каждый раз внове, просто и небрежно, так же как вспоминала Ростов своего детства и Нахичевань, куда ездила из Ростова на конке. Он следил за ее рассказами ревниво, спешил вставить детали, которые она опускала. При этом машинально делал бутерброды и раздраженно подкладывал их в ее тарелку.

– Однажды лепила в студии обнаженную, – к нам ходила позировать Манон, роскошная баба из номеров, красная, распаренная любовью, как прачка паром, очень монументальная, да... Она потом убила кофейником одного гарсона из кафе напротив, за измену. Впрочем, его нетрудно было убить, мне кажется, достаточно было Манон прижать его к стенке своим бюстом, да... ну, это другая история – о чем я?

– Вы стояли, работали, – громко напомнил Петя, – вдруг заходит...

– Вдруг вбегает молодой человек, вертлявый, тощий, очень подозрительного вида. Метнулся ко мне и говорит: «Вы не могли бы дать мне восемьдесят франков?»

– Это был Цадкин, – поспешил вставить Петя.

– Это был Цадкин... Я так оторопела, что дала четыре франка... Да, деньжата у меня водились, мне присылали родители... И в Париже можно было недорого прожить. Мы, художники и скульпторы из России, обедали в ресторанчике, который держала на Монпарнасе русская эмигрантка. За один франк там давали несколько блюд. Эмигрантка... Забыла ее имя и лицо смутно представляю, но вот сына ее помню отлично. Витя, журналист. Странный, длинноногий. Приходил, садился в угол, просматривал газеты и запивал их водкой. Отвлеченный человек... Я познакомила его с Ханой Орловой, мы дружили. Она была очень способной в лепке. Так вот, Витя смастерил ей известность всякими журналистскими штучками. Но это было позже, а вначале Орлова снимала небольшую сумрачную комнатку в мансарде. Из окна открывался вид на крыши и помойки. Я привела Цадкина, он ходил по комнате, смотрел скульптуры, кривлялся и причмокивал: «Хорошо, хорошо...», а когда Хана вышла на минутку, свинья Цадкин повторил: «Хорошо... Из нее бы вышла хорошая кухарка».

Да, дворик из окна – зажат крышами, глубокий, как штольня, голуби слетались на помойку... Очень уютный был город – Париж... А поехать за границу тогда было проще простого. Посылался в полицейский участок дворник Василий и через час приносил оттуда заграничный паспорт. Это стоило, если память не изменяет, рублей пятнадцать...

– Что вы делаете! – воскликнул Петя, заметив, что старуха собралась нарезать еще хлеба. – Это нож, которым вы палитру чистите!

– Ну и что? – спокойно возразила она. – С микробами надо дружить. Твое чистоплюйство мне осточертело... Нина, Петька готов без конца вылизывать пол, что никому не требуется, мыть посуду, стирать, и вообще он с особым вдохновением занимается бабскими домашними делами.

– Ну и... вернул вам Цадкин четыре франка? – спросила Нина, опасливо косясь на заляпанный краской нож в руке старухи.

– Нет, конечно. Он был нищ и нахален необычайно. Этим он меня интриговал. И такой худой, что приходилось его подкармливать просто из человеческого сострадания. Мы часто обедали вместе. За обед платила я, но давала деньги ему под столом, чтобы его не считали сутенером. Знаете, французы с этим шутить не любят... Да... К процедуре обеда он относился трепетно... Помнится, в день, когда началась Первая мировая война, я бежала по Монпарнасу и наткнулась на Цадкина. Он со своею белой болонкой шествовал в ресторан. «Вы слышали – война?! – крикнула я. – Что вы собираетесь делать?» – «Цадкин должен обедать!» – важно ответил нахал Цадкин...

Петя вскочил, вытащил из ящика кухонного стола нож и со злым лицом бросил его на стол.

– Ну что ты реагируешь, как пьяный гусар в офицерском собрании? – с досадой спросила его старуха. – Я говорила тебе сотни раз: беспорядок надо рассматривать как натюрморт.

Матвей, меланхолично спокойный, развернул конфету и сказал:

– Вы знаете, что в Пушкинский привезли французов? Курбэ, Делакруа...

Матвей всегда умел мягко и незаметно перевести разговор и отвлечь старуху. Да и то сказать – знакомы они лет тринадцать, и художник частенько бывал невольным свидетелем отвратительных, надрывных сцен в мастерской. Матвей вообще был во многое посвящен.

– Как?! Французов привезли? – Старуха заволновалась. – Почему же ни одна сволочь мне не доложила?

– Ну вот, я та сволочь, которая докладывает...

– Нет, Матвей! Матвей, вы понимаете, что это такое?! – Старуха распсиховалась не на шутку, даже палкой в пол стукнула. – Знаете, отчего они все молчат?! Меня ведь туда отвозить надо, а это хлопотно! Хлопотно старую клячу таскать по музеям, по лестницам! А?!

– Ну что вы буйствуете? – враждебно спросил Петя. – Выставку только вчера открыли. Успеете.

– Вот! – с радостной ненавистью проговорила старуха, ткнув пальцем в него, но глядя торжествующе на художника с женой. – Вот!! Он знал! И он молчал, чтобы не возиться, не обременять себя!

– Да!! – крикнул он вдруг, бросив вилку на стол так, что она подпрыгнула и со звоном упала в тарелку. – Да, молчал, потому что в моей жизни есть проблемы поважнее ваших французов! Мне есть куда ходить! Есть чьи пороги коленями отирать!! Есть лестницы кроме музейных, с которых меня спускают!!

Молодая женщина отрешенно и даже расслабленно разглядывала скульптурную композицию в углу, только брови ее напряженно подрагивали.

Фу, черт, как это он не сдержался перед посторонним человеком! И что за ахинею он понес – где это он колени отирал и с каких таких лестниц его спускали?! И ведь обычные старухины штучки, когда он, наконец, научится пропускать их мимо ушей!

Он выскочил и, пробормотав что-то неловко-извинительное, боком, торопливо вышел из мастерской.

Но за дверью остановился, прислонился лбом к холодному плечу гипсовой Норы и перевел дыхание. В мастерской старуха спокойно проговорила:

– Да, хотела рассказать вам, Матвей: вчера Сева приволок двух молодых поэтесс, они сидели допоздна, читали свои вирши. Одна совсем неземная, пишет под Гумилева. Потом выяснилось, что она имеет какое-то довольно влиятельное положение в Третьяковке, в закупочной комиссии... Я это к чему, Матвей: к тому,

что все эти неземные имеют, как правило, весьма земное и прочное существование...

И Матвей что-то негромко и коротко ответил ей. Спазм бешенства сдавил Пете горло ошейником. Милые люди, славная беседа. Ничего не произошло: мало ли невоспитанных типов околачивается среди нас.

В мастерской с шумом отодвинули стул и кто-то направился к дверям. Метнувшись по коридору, Петя взбежал по лесенке и замер в темноте перед дверью своей каморки. Из мастерской вышла Нина, постояла мгновение, очевидно осваиваясь в полутьме коридора, и неторопливо прошла в сторону уборной. Он смотрел на нее сверху. У нее легкая худощавая фигура. Впрочем, в бедрах не такая уж худощавая. И вообще – что можно сказать о фигуре одетой женщины?

Он вдруг почувствовал сильный, горячий пульс в висках и подумал – а собственно, почему его должна заботить фигура жены Матвея? И зло повторил себе: да-да, жены Матвея, жены, вот именно. А ты стой на этой обшарпанной лестнице и воровато подглядывай, как ходит незнакомая непринужденная женщина, чужая жена. Впрочем, ему нет никакого дела до жены Матвея.

Через минуту Нина вернулась в коридор, постояла несколько мгновений перед томно изогнувшейся Норой, вдруг вздохнула и, как показалось Пете, обречено потянула на себя дверь мастерской.

А он зашел к себе и с полчаса взбудоражено мотался по комнатенке, то валясь на топчан, то вскакивая и прислушиваясь к невнятице голосов внизу... Потом все-таки не выдержал, спустился и несколько раз бесшумно прошелся по коридору. Смешно – его знобила невыносимая тоска. По какому, позвольте поинтересоваться, случаю?

– ...Приехал он из Италии только один раз за эти десять лет, в прошлом году, когда умерла от инфаркта его мать, моя единственная дочь Саша. Надо было продать дачу и получить наследство, и это обстоятельство влекло его на Родину с необыкновенной силой... Вообще он порядочный жулик...

Ага, это она о Мише, и, конечно, не слишком стесняется в выражениях. Миша – жулик?!

– ...Что? Чем он занимается? Боюсь, что он сам не сможет ответить на этот вопрос, – и старуха рассмеялась своим коротким смешком.

Он почувствовал вдруг апатию ко всему. Это часто наваливалось на него в последнее время – ватное безразличие к происходящему и тяжелое желание спать долго, без просыпу. Он медленно поднялся к себе, повалился на топчан и уснул.

Проснулся Петя часа через два от боли в затылке. Не разнимая век, повернулся на спину, и боль ядовитыми ручейками перелилась в виски. Он тихо замычал и открыл глаза. В комнатке было уже темно.

На его плаще, перекинутом через кресло, лежал изломанный ломоть синего блика от витрины кафе напротив.

Он вспомнил, что сегодня среда. Роза не стряпает, и, значит, с утра старуха не ела горячего. Надо пересилить себя, подняться и сварить хотя бы картошку. Накормить старуху, заодно и самому пожевать что-нибудь.

Не шевелясь, он повел взглядом по стенам. Темнота скрадывала убогую колченогость набранных по знакомым или подобранных где-то вещей. Он представил, как по обшарпанной лестнице сюда поднимается и входит... ну хотя бы секретарша, чьи детские ручки он почтительно и безразлично лобызал сегодня. Ах, Петр Авдеич, это и есть ваши апартаменты? Впрочем, современное дитя дискотек выражается иначе: дед, скажет она, ну и хата у тебя, смотреть тошно...

Да нет, конечно, это счастье, что к мастерской положена скульпторам подсобка. Здесь он все-таки сам себе господин, старухе трудно подняться даже по этой семиступенчатой лесенке, в противном случае от нее бы не было житья, как прежде, когда они жили в огромной комнате в коммуналке на Садовой-Каретной.

Ну, довольно валяться, надо встать и заняться стряпней. Тонкая острая боль из висков затекла в глазницы, вибрировала, жалила. Он сидел на топчане, потирая лицо и массируя шею...

В мастерской под желтым абажуром пасмурно светилась настольная лампа на корявой бронзовой ноге, не чищенной лет этак двадцать. Старуха сидела в кресле, свесив нос, словно вынюхивая что-то, водила небольшой лупой по страницам мелкого текста в журнале «Иностранная литература».

Когда Петя вошел и, выдвинув из-под кухонного стола фанерный ящик, стал вяло копать в нем, выбирая картофелины покрупнее и покрупней, она сказала не оборачиваясь:

– Жую знаменитого Фолкнера. Сева принес вчера. Он совсем затравил меня великой американской литературой...

Петя расстелил на столе старую газету и так же вяло принялся чистить картошку, стараясь пересилить головную боль по-своему: сжимая зубы.

– «Свет в августе»... Первый десяток страниц читаешь с любопытством, – продолжала она. – Потом начинаешь подозревать, что больше всего на свете автора интересует собственное пищеварение. Он подробно и любовно прослеживает, как проглоченный им кусок проходит через пищевод в желудок, переваривается там, попадает в кишечник... И приглашает всех в это увлекательное путешествие... Когда читатель обнаруживает, что заплутал в лабиринте авторских кишок, он уже начинает догадываться, чем закончится пищеварительный процесс и куда в конце концов он, бедный, выберется....

Петя усмехнулся, срезая кожуру с последней картофелины. Старуха, конечно, пристрастна и совершенно не права, но какая умница – так припечатать мгновенной и убийственной картинкой. Можно поклясться, что этакого пенделя Фолкнер не получал ни от одного из своих недоброжелателей.

– Чушь! – буркнул он. – Вы ни черта не смыслите в американской литературе.

– Возможно. После Толстого и Чехова мне скучно копать во внутренностях американца.

Он промолчал, не желая ввязываться в старый спор, поставил кастрюлю с картошкой на плиту, подошел к столу и отломил кусок булочки.

– Откуда эти блага? – он кивнул на стол. – Матвей раскошелился?

– Да нет же, пенсию принесли. За месяц я совсем забываю, что существует такое удовольствие, и каждый раз бываю приятно поражена... Принесли утром, тут Роза как раз случайно забежала...

– Именно Роза забежала не случайно, – перебил он. – Именно Роза прекрасно помнит, когда вам приносят пенсию. Она забежала поживиться. Признайтесь, вы сунули ей трешку?

– Милый мой, а как же? Ведь Роза немедленно сбегала в магазин и купила продукты, я должна была поблагодарить ее за услуги.

– Так! – Он торжественно уселся на табурет, не замечая уже, как в нем просыпается обычное раздражение. – Подсчитать сейчас, сколько содрала с нас мерзавка Роза?

– «Контора пишет», как любил говорить Илюша Ильф, – сказала старуха, – который частенько сидел вот на этом табурете...

– Про Ильфа слышали, – перебил он. – Итак, подсчитаем: что она принесла из магазина? – Он вскочил и рывком открыл дверцу старенького «Саратова» в углу под антресолями. – Так... сыр... ну, здесь полкило, это рупь с полтиной. Колбаса – рупь, не больше, масло... сметана... Итого – четыре восемьдесят, ну пять. Что еще? Конфеты?

– Петька, ты жмот и мелкая личность. Конфеты роскошные, десять рублей кило.

– Эти конфеты стоят четыре пятьдесят, к вашему сведению. Итого – продуктов рублей на двенадцать от силы. Сколько потратила мадам Роза?

– Ну, мальчик... ты что-то путаешь... Я дала Розе четвертную, она принесла трешку сдачи, и я, конечно, эту трешку не взяла. Терпеть не могу крохоборства!

– Прекрасно! – Он торжествовал, он упивался ее житейским идиотизмом. – Так знайте, что эта... эта... у меня нет слов, чтобы назвать эту...

- А ты выматерись, - добродушно посоветовала старуха.

- Эта тварь нагрела нас сегодня рублей на пятнадцать! - крикнул он так, что выстрелило в ухе и отдалось в затылок.

- Да? - удивилась старуха. - Ты подумай, как она ловко считает. Ты тоже, мальчик, мастак подсчитывать копейки. Я очень тебе в этом завидую... У меня с арифметикой всю жизнь обстояло дело худо... Не помню, рассказывала ли я тебе, что мама у нас была прекрасным математиком, она, одной из первых женщин, закончила в Киеве математический факультет. Ее сравнивали с Софьей Ковалевской...

- Слышали раз двадцать о выдающейся маме, - пробормотал он, пробуя вилкой, готова ли картошка.

- Так вот, нас было четверо детей, и со всеми мама занималась математикой. Нас никогда не наказывали, но во время занятий мама частенько выходила из себя и била меня тетрадкой по голове.

- Ее можно понять. - Он раскладывал по тарелкам картошку, исходящую влажным паром. Положил масла, присолил. Поставил чайник на плиту.

- А когда нам было лет по четырнадцати, мы - пятеро дур-подружек - собирались у нас дома раз в неделю. Шестнадцатилетняя Надя Малкина читала нам лекции о прибавочной стоимости. Мы полагали, что у нас тайный марксистский кружок... Однажды папа случайно услышал в приоткрытую дверь Надину лекцию и вечером, отозвав меня в сторонку, сказал мягко и недоуменно: «Аня, ты же не знаешь арифметики!»

- Давайте ужинать.

Он подтащил кресло с сидящей в нем старухой к столу, пододвинул ей тарелку, нарезал хлеб.

- Это что - картошка? - Она повела носом. - Очень своевременно и толково. Ты и масла положил?

– Положил...

– Удивительно. А посолить не забыл?

– Ешьте, ради Бога, когда вам подают, и не учите меня варить картошку!

Некоторое время они ели молча. Мастерские вокруг затихали, художники и скульпторы расходились по домам. Лишь наверху, на втором этаже, поскрипывали половицы антресолей – это все еще работал Саша Соболев, художник, холостяк; он часто оставался в мастерской, и тогда наверху всю ночь будто цапля щелкала – это Саша печатал на своей машинке статьи в газету «Московский художник».

Боль в висках и затылке постепенно угасала, в груди мягчело, свет от старой лампы желтым апельсином лежал на полу, в нем стояли старухины старые ботинки; и понемногу раздражение и тоска, как и боль в висках, не пропали, нет, но ушли вглубь, сжались в комочек, и хотелось ему тишины, мира, спокойной беседы, а более всего – тишины, в которой лишь поскрипывают половицы антресолей наверху...

Он заварил свежего индийского чаю, разлил по чашкам.

– Как тебе показалась Матвеева жена? – спросила старуха. – Недурна, по-моему, и неглупа...

Он пожал плечами. Не хотелось сейчас ни о Матвее, ни о жене его, ни о своих неприятностях. Все эти разговоры были чреватые взрывом, оскорблениями, а ему сейчас так хотелось тишины, которая убаюкала бы его душу, как убаюкала она головную боль.

– Что-то переводит с испанского. Или с португальского. А может, и с того и с другого. Любопытно почитать, что там она царапает. Что может нацарапать хорошенькая женщина?

Он отмалчивался, понимая, чего хочет старуха. Ей слишком покойно было сейчас, как кулику на тихом болоте, ей хотелось это болото всколыхнуть, взбаламутить, поднять со дна удушливые газы. Старуха просто не могла без

встряски, она жаждала крови.

- И вообще - что может сделать в искусстве хорошенькая дамочка, а, мальчик?

- И в то же время для этого недостаточно обладать вашим убийственным носом, - тихо и отчетливо проговорил он.

Получай. Ты просила.

Старуха улыбнулась с довольным видом. Она радовалась, что удалось вытянуть его на драку.

- Тебе, я вижу, приглянулась эта цыганочка. Что ты намерен делать?

- Допить чай, - угрюмо ответил он. - Если вы, конечно, дадите.

Умиротворенная тишина этого вечера подернулась рябью, словно озеро перед непогодой. Старуха разбивала ее, как от скуки разбивает камушками юный бездельник зеркальное спокойствие пруда. И уже пузырилось и поднималось со дна души потревоженное раздражение.

- Да... Боюсь только, что она вообразила, будто играет в жизни Матвея важную роль.

Он собирался отпить глоток чаю, но, услышав это, опустил чашку и изумленно уставился на старуху. Господи, до чего надо дойти в полном равнодушии к кому бы то ни было, чтобы отрицать все очевидно теплое и нежное в жизни человека. А вслух он сказал:

- Она ее и играет.

- Вздор! - отчеканила старуха. - Для Матвея в жизни важно только искусство!

- И вы! - подхватил он со злорадным смешком. Чашка подрагивала в его руке. - Вы и искусство! Поздравляю вас с началом маразма. И то сказать - давно пора. Девяносто пять годков-с! И хватит о Матвее, умоляю вас! Мне надоел ваш Матвей и его жена тоже уже надоела!

Он был готов к драке, совершенно готов. Как обычно, старуха добилась своего несколькими словами – она любила жрать человечину. И даже не жаль было тихого вечера, ему хотелось говорить и говорить ей ужасные, оскорбительные вещи, хотя он знал, что ее нервная система неуязвима, и все его удары обрушатся на него же, и больно будет только ему.

И тут же опять заговорил – быстро, сбивчиво, и опять о Матвее:

– Утверждать, что жена не играет в жизни мужика никакой роли, можете только вы, с вашей биографией и уникальной личной жизнью. Это в вашей жизни муж не играл никакой роли. Так не судите всех по себе. С вашим потрясающим эгоизмом трудно сравниться кому бы то ни было. Взять хотя бы сегодня: я четыре часа как вернулся домой, за это время вы успели трижды отравить мне существование, но так и не поинтересовались моими делами.

– А я все знаю, – спокойно сказала старуха.

– Да ну? Интересно, каким же это образом?

– Телефонным. Я позвонила сама вашему знаменитому Бирюзову. – Она невозмутимо потянулась за конфетой. Это была четвертая, старуха любила сласти.

– Что-о?! – выдохнул он шепотом, когда осознал, что она сказала. Приподнялся со стула и, не сводя со старухи потрясенного взгляда, бессильно опустил. У него не было слов, чтобы объяснить безумной старухе, что она сделала. Он молча сцеплял и расцеплял кисти рук. Хотелось истошно мычать.

– Да, я ему позвонила, – продолжала она, разглаживая блестящую обертку ногтем большого пальца и машинально мастера из нее фантик. – Кстати, может, он и талантливый человек, но, судя по разговору, глупый и напыщенный гусь. Его отец был гораздо умнее и порядочнее. Я знала его отца. Одно время мы встречались за преферансом у Осьмеркиных...

Убить ее. Убить немедленно. Трахнуть по лбу сахарницей или бюстиком Бетховена... Это она все погубила сегодня. Все дело в ее телефонном звонке, а вовсе не в декретных отпусках Елены Ивановны и Инги Семеновны.

– Один из таких вечеров я помню прекрасно. В тот раз у Осьмеркиных сидела Ахматова – я ее не любила, довольно противная была баба... Вдруг вошел Вертинский – милейший человек, он дружил с Осьмеркиными. Так вот, едва вошел Вертинский, Ахматова всем своим видом стала показывать: я, мол, Анна Ахматова, а ты – пошляк Вертинский...

Он застонал и обхватил руками голову.

– Что вы говорили Бирюзову? – процедил он, глядя в тарелку и массируя виски.

– Я сказала, что если он широкий человек, то просто обязан взять тебя в театр. Что ты способен не только выполнять обязанности завлита, на мой взгляд совершенно вздорные и никому не нужные, но и поставить спектакль, и не хуже, чем какой-нибудь заслуженный пуп.

Он захохотал и смеялся долго, истерично, до икоты, выкрикивая поминутно:

– И что... со временем... я смогу с честью... занять кресло... самого Бирюзова!..

– А почему бы и нет? – Она глядела на его истерику с недоумением. – Преемственность в творчестве – благородная и, кстати, неизбежная традиция... Тогда знаменитый Бирюзов сказал, что для такой выдающейся фигуры, как Петр Авдеевич, их театр – просто убогая контора и что лучше всего ему подойдет должность Эккермана при Гёте. И, доказав этими словами, что он ревнивый и трусливый индюк, повесил трубку.

Петя, казалось, развеселился страшно. Он повалился грудью на стол, лбом чуть ли не в сахарницу, всхлипывал и скидывал голову, как взнузданный конь. Старуха пыталась еще что-то добавить, но он ее не слышал.

Наконец откричался, утерся носовым платком и умолк. Некоторое время он бесцельно переставлял на столе чашки, плетенку с конфетами и бессмысленно улыбался.

– Понятно, почему он даже не захотел говорить со мной, – пробормотал он несколько минут спустя. – Секретаршу выслал... А дело было на мази, меня рекомендовал Сбросов, и каких усилий все это стоило...

Он заторможенно глядел, как она подлила себе в чашку кипятку, и проговорил медленно, с эпическим спокойствием:

– Знайте, что сегодня вы погубили меня, ужасная старуха...

– Не драматизируй, – отмахнулась она. – Все к лучшему. Мне вообще не нравилась эта затея. Что это за работа – состоять цербером при режиссере и загрызать чужие пьесы? Сядь и напиши свою, если тебе есть что сказать.

– Вы и Матвею много напакостили своей глупостью, – ровным голосом продолжал он, не слыша старуху. – Его никогда не примут в Союз художников, и не потому, что он «слишком левый», а потому, что вы, именно вы звоните тем, от кого прием зависит, и с великолепным идиотским апломбом заявляете, что Матвей – гений, что все они просто обязаны принять его в Союз и записаться в порядке алфавита к нему в ученики.

– Твоя ирония бездарна, потому что так все и есть.

– Вот именно. Остается удивляться, как это до сих пор Матвею не изменила выдержка и он не схватил ваш же скульптурный молоток и не проломил им ваш феноменальный череп!

– В наше время, – невозмутимо ответила старуха, – художник всегда находил в себе мужество признать, что другой – гений.

– В ваше время многое выглядело по-другому, но и тогда были умные люди и такие, как вы, – обладающие гибкостью швабры... И прекратим эту грызню. Вы все равно ничего не поймете, потому что не слышите и не видите других людей...

Он сказал «прекратим», но уже сам не мог остановиться. Все внутри у него дрожало от ненависти, все было отравлено горечью. Хотелось припомнить ей все обиды за эти пятнадцать лет, с первого дня до сегодняшнего.

– И зачем вы так скверно говорили о Мише? – встрепенулся он, обрадовавшись, что вспомнил очередную гадость старухи. – Жуликом обозвали, хотя прекрасно знаете, что он не жулик, а нормальный человек и уехал не почему-либо, а

полюбив и женившись, и это его личное дело, в конце концов! Это вы могли запросто шляться по Елисейским полям туда и обратно, а для нас это вопрос перелома всей жизни, и если человек выбрал то, а не другое, так и не вам судить его!

Он говорил это запальчиво, возмущенно, хватая тарелки и с грохотом сваливая их в раковину. Все, что он говорил, казалось ему убедительным, но старуха, откинувшись в кресле, так весело и откровенно любовалась этой вспышкой, так небрежно, слегка в наклон отставив палку, вращала ею, что он запнулся на полуслове и молча, остервенело крутанул вентиль крана.

– Я и не подозревала, что ты так горячо любишь Мишу, мальчик, – с удовольствием проговорила она.

– Я не люблю Мишу, и вы это знаете! – он перекрикивал шум воды. – Но меня возмущает несправедливость!

Она помолчала мгновение, словно высматривая наиболее уязвимое место для удара, и наконец сказала торжественно:

– Мальчик заговорил о справедливости. Забавно...

Он резко завернул кран. Стало зловеще тихо, только последние упущенные капли звонко тяпнули по краю торчащей из стопки тарелки. Побледневший, с мокрыми подрагивающими руками, Петя обернулся к старухе.

– Остановитесь! – сказал он тихо. – Я доскажу за вас, – шагнул к ней, глядя светлыми, неподвижными от ненависти глазами. – Пятнадцать лет назад вы подобрали и пригрели голодного общежитского щенка. Вы дали ему крышу над головой, привили вкус к живописи, литературе, театру – к искусству! Вы обучили его, вы развили его душу, и главное – главное, частенько попросту кормили его, со-дер-жа-ли! Например, последние месяцы вы его содержите, этого бессовестного тунеядца, не получая взамен никакой благодарности. И вот теперь этот щенок, выросший за пятнадцать лет в шелудивого пса, смеет что-то твякать о справедливости! Вам – высокому образцу добродетелей и талантов – о справедливости! Ведь так? Ведь вы это собирались сказать? Говорите. Скажите наконец все, и довольно. Но предупреждаю: на этот раз я уйду навсегда! Итак: вы именно это собирались сейчас сказать?!

Несомненно, старуха собиралась сказать именно это. Но он видел, что она стухнула, и знал, что сейчас она пойдет на попятный.

– Петька, ты болван! – сказала старуха сурово. – Ты собачий идиот, мальчик!

Большой грубой ладонью она обхватывала набалдашник палки, словно хотела смять его, как ком глины.

От величественности престарелой императрицы и следа не осталось.

– Налей мне еще чаю, психопат. – Ее глаза, живые верные глаза полевого зверька, глядели затравленно.

Это был пик его торжества. Он выдохнул, чувствуя себя вконец измочаленным, вернулся к мойке и молча, подпрыгивающими руками домыл посуду...

* * *

Под утро папа все ходил, ходил по дому, хлопал дверьми, ронял что-то. Ходил по дому в подштанниках, сердился, негромко выговаривал Стасику ворчливым голосом. И ей сквозь сон казалось – это он на нее сердится, и хотелось спать – скорей бы он спустился в свою водолечебницу, никогда утром поспать не даст.

Еще накануне вечером они, двое младших – Аня и Станислав, уговорились поехать в Нахичевань. Конка туда и обратно, и чтобы дома не знали. Ехали кутить и шататься. Стасик напечатал заметку о гастролях театральной знаменитости, Стасик получил первый гонорар – семь рублей! – огромный гонорар для гимназиста последнего класса. Итак, конка туда и обратно, и чтоб дома не знали...

До блеска начищенный двугривенный в кудрявом ухе духанщика пускает зайчики в подносы с халвой и миндалем. Стасик сказал ей тихо: «Это значит: „Меньше двугривенного и слышать не хочу!“ – И она загоготала неприличным своим басом. – Фи, Аня, разве девочки так смеются?» Стасик всегда смешил ее до коллик в боку...

...Слышно, как увесисто протопала по коридору Наталья – понеслась ставить самовар. Значит, скоро швейцар Ибрагим придет наверх за чаем. Добряк Ибрагим всегда одаривает детей конфетами. Сует по-воровски в руку, чтобы доктор не видел. Доктор – противник конфет.

У доктора – водолечебница. Водолечебница – это храм. С нее начинается жизнь, и детство бьется в ее высоком круглом куполе, как бабочка в стеклянной банке. Водолечебница – папина! – одна из первых в России. За новой арматурой родители ездили в Берлин. Оранжевая, зал, где купаются... Перед изумленным взором восьмилетней Ани, забежавшей без спросу в зал, папа с кафедры поливает из шланга голых дам. Аня уже ходила с Натальей в баню и видела там голых баб, но не подозревала, что раздетые дамы совершенно такие же – вислые, дряблые, косолапые. Мадам Веретенко, приподняв пудовую левую грудь и почесав под нею, сурово спрашивает у желтой и голенастой, как высушенный кузнечик, Марии Семеновны: «А личная судьба у вас, милая, не удалась?..»

Фи, Аня, ну что ты ржешь, как наша пристяжная? Разве девочки так смеются?..

Величественная фигура кухарки Натальи. «Наталья, дай пожевать!» – «Вот еще! Терпите до обеда, барышня...» – «Ну, кусочек, Наталья! А? А вот смотри, что там?» – «Где?» – «Да вон, за спиной!..» – «Ой, ну как не стыдно, барышня, вот доктору доложусь, что вы пряник стянули, вот доктор вздует...»

На веселеньких палевых обоях тень, смешная, с длинным носом. «Анька, стой так, я твой портрет смастачу! – Стасик обвел карандашом ее профиль на стене. – Вот смотри, такая ты будешь в старости – носатая, лохматая Анна Борисовна!» Хохочет, глупый... Глупый, я не доживу до старости, папа говорит, что у меня слабое здоровье!

На стене висит скульптурка: домик, в окошечко смотрят человечки. Это папа привез из Варшавы. Когда никто не видит, Аня залезает на стул и долго водит пальцем по глянцевым изгибам окошка. Пальцы чутки и жадны: вот так бы смяла и слепила заново, почему-то кажется – не хуже... Аня уже видела настоящие скульптуры. В соседнем переулке, в подвале, – форматорская мастерская. Там работают Федор Гаврилыч, насупленный и трезвый, и Федька Покойник, веселый и пьяненький, с неизменными прибаутками и песенками. Как-то Аня забежала посмотреть на работу, и Федька Покойник, сбивая форму на голове античного сенатора, запел козлино: «Цыгане в озере купались и поймали рака. Целый день они искали – где у рака...»

И тогда Федор Гаврилыч сердито цыкнул на него и впервые заговорил с Аней, ласково, подробно объясняя, что он делает и зачем... Года через два она принесла в эту мастерскую свою первую работу – портрет отца...

...Когда она проснулась и, подложив под щеку большую ладонь с немеющими пальцами – размятую ладонь старого скульптора, привычно глянула в огромное окно мастерской на кивающие чему-то кроны деревьев, прояснилось, что утром папа никак не мог ходить по дому в подштанниках по той причине, что вот уже шестьдесят лет существует только в ее снах. И еще она подумала, что существовать, пусть даже в такой призрачной оболочке, папе осталось совсем недолго, и тогда, конечно, доктор Скордин исчезнет из этого мира навсегда...

Мысли эти не были ни грустными, ни горькими. Она всегда эпически-спокойно думала о смерти. О любой смерти – и о своей. В то же время ей совершенно не наскучило жить, и по утрам она с неизменным удовольствием усаживалась за этюдник, если мальчик бывал в духе и подготавливал ей все для работы.

Сегодня, например, можно писать натюрморт с гнутой ржавой селедки, такой старой, что она давно уже перестала напоминать продукт, а превратилась в муляж. Селедка валялась на подоконнике с давней какой-то вечеринки, совершенно задубела и даже надломилась, а вчера пришел Матвей, наткнулся на селедку, хмыкнул, быстро уложил ее на белом надбитом фаянсовом блюде, бросил на табурет старую вишневую драпировку и, перед тем как начать портрет, минут за сорок написал на картонке прекрасный натюрморт с дохлой страдалицей...

Да, проклятые немеющие пальцы уже отказываются мять ком влажной глины, но еще держат кисть и мастихин. Значит, жить необходимо и впредь. Только бы мальчик проснулся в приличном настроении и подготовил мольберт для работы.

В последнее время он стал особенно мнителен и желчен. Любое слово по своему адресу воспринимает как оскорбление. Вчера, например, вспыхивал и орал совершенно уже по пустякам. Несчастный мальчик, ему очень не везет. Конечно, в какой-то степени он заслужил все эти мытарства: Петька, в сущности, человек недобрый, неширокий и бесхарактерный, – но что делать, если жизнь без него немислима?

И что за дело избрал он себе, прости Господи, – театровед? Кто бы объяснил ей, что это значит! Он ходит на спектакли, возвращается торжествующе-ядовитый, ругает всех и вся – и актеров, и режиссеров, и драматургов – и уверяет, что сегодня нет настоящего искусства, словно искусство может когда-нибудь прекратить существование... Иногда создается впечатление, что мальчику очень хочется, чтобы искусство прекратило существование. Тогда бы он писал и писал про это в своих умных статьях, и ругался, и плевался, и радовался этой кончине в отместку за то, что сам еще ничего не создал.

То, что он никак не может подыскать себе работу, хотя однокурсники уже выбились в начальство, закономерно. Он перессорился со всеми. Собачий характер и невероятные амбиции. От каждой встречной кошки на лестнице он требует немедленного признания его ума и таланта, немедленного восхищения, а если вдруг эта облезлая кошка по занятости своей восхищения не выразит, берегитесь все – искусство подыхает, режиссура дышит на ладан, актеры бездарны и непрофессиональны, и все вы подлецы и мерзавцы.

«Кругом одна ложь!» – любимый конек в любом разговоре. Возражать, что сияющая правда существует только в горних облаках и в снах полусумасшедшей Веры Павловны из плохого романа Чернышевского, – бесполезно. Он не хочет понять, что Правда – всюду и художник всю жизнь намывает ее, как старатель, по крупинкам! Если же он с юности требует от жизни немедленного предъявления правды как некоего служебного удостоверения, то он не художник, потому что не сострадает себе подобным, а поминутно тащит их на Божий суд.

Да, мальчик честен. Скажем так – он порядочен в бытовых мелочах и требует этого от всех, даже от тех, кому честность не свойственна, следовательно, требовать ее от них – глупейшее занятие. Он постоянно пытается вскарабкаться в высокое седло Росинанта, но, чтобы удержаться в этом седле, необходима наивная страсть благородного идадьго, а страсть мальчик повыговорил в бесконечных разговорах о лжи и правде. Говорить он умеет.

Он умен, будем справедливы, и жаждет что-то делать в искусстве, но кому и когда, со времен сотворения мира, ум заменял талант? Да, талант, талант... богоданная способность рожать, вечное диво на вечно живой земле... И вьются бесплодные умницы вокруг блаженных рожениц, и толкуют, и судят, и взвешивают дитя, свивают его и качают; горькое, вероятно, занятие – нянькать чужое дитя...

Нет, нельзя сказать, что мальчик – вне социума. В юности он петушился. Писал! И даже печатался. Но в процессе редактирования ему, как водится, повыдергивали перьев из хвоста, и он вовремя понял, что петушиться с оципаным хвостом неприлично. Устал. Сник. Вообще – надорвался и забился в драмкружок швейной фабрики. Надорвались, надо сказать, за эти годы многие. Впрочем, кое у кого нашлись все-таки силы поднять гребень сейчас, хотя мальчик утверждает, что сегодня распевают те, кто тогда помалкивал. С чего бы такая строгость? Все с того же: мальчика не зовут попеть на высоком заборе. Забыли... А не собачься, не дери нос, не бросайся друзьями. К тому же за годы подросло много молодых и вполне голосистых петушков, это надо учитывать.

Итог – что мы имеем на сегодняшний день? На сегодняшний день, когда из театральной братии только ленивый не сколотил какой-нибудь этакой еще студии и не поставил там этакое, вроде статьи Бухарина «Заметки экономиста», где выпускники ГИТИСа играют бухаринскую и сталинскую позиции по вопросу нэпа, – на сегодняшний день многоуважаемый Петр Авдеич сидит в углу мастерской, жует бублик и брюзжит, что оживление в политической жизни страны еще не гарантирует возрождения искусства. Петр Авдеич брюзжит потому, что его не позвали это искусство возрождать. Обошлись, не позвали...

Слышно было, как Петя ходил по своей комнатке, потом спустился, прошел мимо дверей в ванную и долго плескался там, бормоча, – он всегда разговаривает вслух с собою. Долго. Вероятно, брился. Интересно, соблаговолит он заглянуть и поинтересоваться, жива еще старуха или перекинулась. Кстати, о – перекинулась. Надо бы позвонить кому-то из друзей, посоветоваться – как подступить к этой тошнотворной юридической процедуре с установлением опекуна. Чего доброго, мальчик останется в Москве без крыши.

Соблаговолит. Показался в дверной щели выбритым подбородком и буркнул «доброе утро».

– Привет, – отозвалась она благодушно. Интересно, как бы повел он себя, если б в одно прекрасное утро она не отозвалась со своей сиротской раскладушки. Вероятнее всего, воспринял бы это с огромным облегчением. Надо смотреть правде в глаза – мальчик к ней совершенно не привязан. Он терпит старуху сцепив зубы. В таком случае следует мудро и спокойно взглянуть на вещи и действительно поторопиться с опекуном, чтобы не обмануть его справедливые ожидания.

Вот он поставил чайник на плиту – это хорошо, она любит выпить утром стакан горячего чайку. А то, что он опять схватился за ненавистный веник – предмет своей страсти, – это ужасно.

Не вынимая ладони из-под щеки, она с насмешливым презрением наблюдала со своего скрипучего ложа, как Петя дотошно выметает мусор из углов, заваленных холстами и подрамниками, как ему не лень переставлять с места на место скульптуры и вытирать с них пыль.

– Твоя маниакальная страсть к порядку в какой-то степени, конечно, выгодна, – сказала она, – но иногда мне хотелось бы знать, где находится хоть одна из четырех моих записных книжек. Я люблю, чтобы они были у меня под задом, а ты раскладываешь их по каким-то неведомым полкам в непостижимой уму закономерности...

Мальчик молча подметал. Лицо с выбритыми, словно отточенными лезвием скулами было непроницаемо.

– Это у тебя от неудовлетворенной страсти к режиссуре, – добавила она. – Ты прибираешь, как мизансцены строишь. Постой, не убирай эту картонку. Поставь-ка на мольберт... – Старуха умолкла, задумчиво рассматривая Матвеев натюрморт с селедкой. – Посмотри на эту страдальцу, – негромко, с удовольствием проговорила она. – Жизнь переломилась, все в прошлом... А Матвей сделал из нее веселую девушку. Теперь эта селедка счастлива, что ее поймали...

– Да, вот что! – вдруг перебил Петя. – Забыл сказать вчера: я уломал мастера-ортопеда сшить вам ботинки. Сегодня в девять он придет мерку снять. Только деньги нужны вперед. По крайней мере задаток – рублей пятьдесят.

– Это безобразие! – сказала она. – Он нахал.

– Он редчайший мастер. К нему пробиться невозможно. Люди записываются за полгода. Я чуть не в ногах у него валялся, чтоб он за две недели сшил вам обувь. Плакал и ползал.

– Очень образно. Но, мальчик, сегодня к вечеру уже не будет пятидесяти рублей!

– Жаль, – холодно ответил Петя, выметая мусор из-за бюста Мейерхольда. – Никто не виноват, что вы содержите стерву Розу и ее милого мужа. И меньше всего в этом виноват мастер.

– Он нахал, – упрямо повторила она. – А ты болван.

– Спасибо, – ответил он с достоинством. Похоже, сегодня мальчик решил давить на нее мраморной глыбой холодного презрения... Нет, сжалился. Но прежде ссыпал мусор в помойное ведро под лестницей, долго и дотошно мыл руки (он ненормальный все-таки, как хотите) и наконец занялся вскипевшим чайником.

– Позвоните Матвею, – сказал он вполне человеческим, домашним тоном. – Вы же собирались одолжить у него денег. А он, похоже, теперь при кошельке.

– Это очень противно, – буркнула она. Петя недоуменно глянул на нее, держа на весу чайник.

– Противно просить, – пояснила она. – И сколько просить, я не знаю. Пятьдесят? Сто?

– Просите пятьдесят, там видно будет. Ведь заплатит же когда-нибудь Третьяковка за Филатова...

После завтрака он вымыл посуду и быстро, почти машинально расставил треножник, подготовил ее привычную палитру (белила в центре, и по обе стороны теплые и холодные полукругом: направо – кадмии желтые, красные, охры, сиены, умбры, налево – кобальты зеленые, синие, ультрамарины). Она давно уже не бурчала указаний ему под руку – Петя как свои пять пальцев знал ее палитру и на указания только огрызался.

Он поставил кресло перед мольбертом. Ну вот. Что еще? Ах да – термос рядом на табурете, чтобы, не поднимаясь, она могла глотнуть чаю.

– Куда ты собрался? – спросила она вдогонку.

Петя придержал открытую дверь и ответил негромко, отдельно:

– Благодарю за горячее участие. Но с меня вчерашней вашей беседы с Бирюзовым довольно. Отныне вы никогда не будете совать нос в мои дела, – вышел и аккуратно притворил за собою дверь.

Ба! Да мальчик все утро, оказывается, ждал этого момента, этого будничного ее вопроса, привычного, как утреннее умывание. Он отомстил за вчерашнее. Не исключено, что и побрился он ради пущего эффекта. Можно поклясться, что никуда он сегодня не собрался – кому и на что он сдался? Ну, прошвырнётся по улицам, ну, закатится к какой-нибудь своей бабе-приятельнице. Но эта горькая усмешка, этот театральный поворот головы с приподнятым подбородком!

На что уходит жизнь молодого умного человека?

На что уходит наша жизнь вообще? И – куда она уходит?..

Тот старый зеленый вагончик, скрежещущий на всех поворотах... Того вагончика, что вез девятнадцатилетнюю Аню из Парижа в Кале, конечно же, давно нет на свете. И веселого пошляка француза с портфелем («О, я помощник юриста!»), – пошляка француза, никак не желающего поверить в то, что девятнадцатилетнюю девушку понесло в Кале только затем, чтобы взглянуть на скульптуру Родена (не затем девушки ездят в поездах! и пальцем погрозил: «Но-но-но! Не морочьте мне голову!»), и его, конечно же, нет на свете.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: <https://tellnovel.com/dina-rubina/na-verhney-maslovke-kupit>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)